

Олег Навъяров
Дыхание

Песни страны Нефельхейм



Олег Навъяров

**Дыхание. Песни
страны Нефельхейм**

«Издательские решения»

Навъяров О.

Дыхание. Песни страны Нефельхейм / О. Навъяров —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-835774-9

Волшебные прозаические баллады страны Нефельхейм, центр которой повсюду, а окружность нигде, и страстные напевы её срединного моря — Байкала.

ISBN 978-5-44-835774-9

© Навъяров О.
© Издательские решения

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

29

Дыхание

Песни страны Нефельхейм

Олег Навъяров

«...не то, не то...»

Брихадараньяка упанишада

© Олег Навъяров, 2016

Редактор Юрий Наумов

ISBN 978-5-4483-5774-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пустая чугунная чаша фонтана ловит крики птиц. Вокруг – ранняя зелень веток, отдаленный городской шум. Закутск, второе или третье мая, полдень. Я сижу на скамейке в сквере, наблюдая столицу Южной Сибири после зимы. Солнечное тепло струится по моим венам. Я радуюсь ему словно степняк воде.

Это Туле¹. Не Крайняя, скорее Срединная. Греки не подозревали об этой земле, но местоположение указали точно: Киммерия.

Я нахожусь на восточной окраине Туле и в центре этой окраины. Местные ученые утверждают, что Закутск расположен в середине планеты, чем явно выдают свою августиновскую школу. В самом деле, центр Закутска неуловим, а окраина повсеместна.

Город осеняет инерция облаков. Со стороны реки доносится запах мокрого песка. Центр сквера с ритмичной неспешностью пересекают прохожие. Осторожные закутяне трезвы и потому еще осторожнее. Их походка выдает любовь к балансу. Сегодня они не желают сорваться в хаос и мрак. В их карманах – металлические деньги, таблетки, семечки и презервативы. Их одежда добротна. Под одеждой и на тысячи верст вокруг – смерть.

Я тоже одет в добротный, пусть изрядно поношенный костюм. В моих карманах, наверное, те же предметы, но я давно не заглядывал в карманы. Лениво вьется дым сигареты. Я дышу тонким запахом пепла. И тем не менее, я все еще жив... Что, впрочем, не удивляет – может быть, потому, что все началось очень давно.

Меня зовут Олег Навъяров, через твердый знак. Мне тридцать два. 1D-basis – род Одина, 2D-basis – каста волхвов-поэтов, 3D-basis – Калаханса.² Дважды женат, дважды разведён. Как все мои предки, войсковые капелланы и боевые маги, я приписан к Медвежьему легиону. В международной классификации он известен как Пятый Преторианский панцердивизион Беовульф, один из двенадцати Священных легионов Конфедерации. Он базировался в Забайкалье, у границы с Монголией и Китаем. В Закутске располагалось только одно подразделение Беовульфа: Байкальская когорта, в которой уже четыреста лет служат все Навъяровы. Мы охраняли резиденцию наместника Параэксхарта в Сибири. Во время войны когорта выполняла функции спецназа, в остальное время – командировки в горячие точки, почётные караулы, парады. В состав легиона входило всё, что должно быть в нормальной танковой дивизии: механизированные части, артиллерия, пехота, связисты, лётчики и так далее, но, в отличие от мно-

¹ Крайняя Туле (Ultima Thule) – страна вечного холода на северном краю земель, согласно представлению римских писателей.

² Калаханса (Чёрный Гусь) – образ божественной творческой силы в символизме древней Индии. Один взмах крыл Калахансы создает Вселенную, другой взмах ее уничтожает.

гих танковых частей, Медвежий легион был укомплектован профессионалами, и все танки на ходу.

После того как Параэххарт отрёкся от власти, его гвардейцы подались в наёмники и охранники, то есть в бандиты. Конверсия. Бывшие соратники-волхвы встречают меня с удовлетворёнными улыбками. Они давно прописали себя в касту торговцев. Конечно, они сделали это от шока и ненависти к жизни. Они хотят вырваться из этого мира будто ракета и впитаться в блаженную высь, но в качестве топлива выбрали деньги. Не дай вам Бог попасть под их обломки. Взлетая, они духовны как Иисус. Упав, превращаются в пылающих зомби. С меня довольно разочарований, особенно чужих.

Что еще? Курю по пачке сигарет в день, сексуальные пристрастия не оригинальны. Увы: древняя кастовая система утонула в визуально-психическом шабаше. Представляясь, я теперь вынужден пояснять, что скандинавский 1D-basis не делает меня варягом. Даже поговорить, в сущности, не о чем. Беседы с умными людьми похожи как одна: зэк беседовал с начальником, и тот решительно подтвердил, что тюрьма существует. Всем нужны печати и росписи на фирменном бланке, в глубине души никто не верит в этот мир. Недавно я бросил привычку смотреться в зеркало. Бреюсь на ощупь.

Чтобы ощутить себя, а не продукт или чье-то суждение, я пишу. Лучше всего на бумаге: я долго не имел доступа в Астронет и постепенно к этому привык, а работа в Бодинете связана с непотребным, идиотским напряжением. В редакциях, где установлен Бодинет, все сделано так, чтобы нельзя было собраться с мыслями.

Много раз я пробовал покончить с письмом, но проблемы не исчезли. Наоборот, я сам стал проблемой. Каждая губка когда-нибудь выплеснет все, что в нее закачали. Сейчас пишу как йог: не берусь за ручку, пока боль не станет адской. Видимо, придется часто вспоминать о прошлом. Я вернулся к исходной точке. Это базис, *упадхи*, как говорили индийцы. Но мои знакомые не любят индийцев, потому что те изобрели санскрит, сложную мифологию и всё понимали правильно. Моим близким и друзьям некогда учиться. No time. И вообще они живут на другой ментальной волне. Я понимаю их, но покинув очередь за новым мерседесом, я ни о чем не жалею. «Ты не в упадхи, ты в упадке», сказал мне младший брат. Что же, весьма допускаю. Упадок – это возвращение к основе, тем паче, что никто не возвращается прежним. Вздрогнет секундная стрелка – и танки бросятся в бой. Мой младший брат не хочет знать об этом. Его бесит любая остановка, особенно если вы хотите оценить ситуацию. Он из тех безумных птеродактилей, кто даже падая продолжает махать конечностями, грызть асфальт и врезаться в преисподнюю. Насколько я понимаю, это и есть деградация.

Все дни, кроме субботы и воскресенья, я общаюсь с народом. Это действие начинается сразу за дверями подъезда. Ветер – всегда северный и всегда в лицо – вышибает длинную слезу. Я такой же, как все, но привлекаю внимание. Шагаю не в ногу. Что-то беспокойное умерло во мне, заглохло. Что-то личное. Как будто я нашёл себе лыжи по размеру, но внезапно кончилась зима.

Первые признаки этого странного состояния обнаружили прошлой весной. Я приехал на Байкал, где у меня есть крохотная дача, и стоя у самой воды, смотрел на потрескавшийся лёд. Звериная свежесть апреля. Мощное, глубокое, едва уловимое приготовление плыло изда-лека, исподволь наполняя воздух. Никакого участия мысли – принудительного участия. Центробежная сила тепла размешивала запахи и звуки. Здесь я впервые почувствовал... Словно центр зарождающегося тайфуна находился во мне, где-то на уровне диафрагмы, и кроме тайфуна не было ничего. Страх – лишнее, подумал я. Страх – это мысль, инородное тело, как будто однажды вам сделали операцию и забыли салфетку, и теперь вокруг неё нарастают плоть и жизнь, и гной, и кто-то умирает на заляпанной желчью простыни. Разумеется, вы должны испытывать какие-то эмоции по этому поводу, но ничего не чувствуете, и это так.

Слова тоже покидают меня. Уже много дней я пытаюсь как-то обозначить своё открытие. Придумать заклинание, чтобы вызывать его из хаоса и тьмы. Последняя находка – слово Withouting. With-Out.

Есть несколько примет этого состояния – к примеру, звуки. Во многих людях словно играет музыка; во мне царит ровный грохот. Тор, мой дед по 1D, напоминает о себе каждым ударом сердца. Случается, всё утихает, и тогда я опускаю руки и не знаю, жив я или нет. Мне безразлично всё, что заставляет жить моих знакомых. Всё или почти всё, и эта приблизительность спасает или топит меня, я еще не разобрался. Я заставляю себя думать, заставляю звучать, но во мне глухо как в танке. В танке, установленном на пьедестал в центре города, или отвезенном на кладбище. Разницы нет.

Покой и тишина... которые не внушают доверия. Чтобы скрепить слова неким поверхностным, наличным смыслом, мне придется уходить в такие дебри, что, если вы последуете за мной, вы не вернетесь. Я ничего не понимаю, особенно когда размышляю о будущем; менять ловитву на молитву не всегда легко. Тридцать лет меня учили быть сердцем и духом войны, однако наш легион разбит на подступах к Небесному Иерусалиму. Мой император распустил гвардию и скрылся; он приказал надеяться. Так я остался один на пыльных улицах Закутска, и тот железный грохот, о котором я упомянул выше, – это наказание за то, что мы пытались обратить силу и знание против жизни, и потому я не могу вернуть прежнюю музыку – мою боевую магию, уродливую, но привычную, и остается только ритм.

Мой приятель Эдик (он должен был стать капелланом Алтайской когорты) написал из Парижа: «Со мной происходит то же самое. На Марсовом поле я марсианин. Видимо, я привез с собой эту ментальную инфекцию – лица необщее выраженье. Однако есть в ней что-то положительное. Если не сгинуть в Армагеддоне и пройти по кладбищу в день воскресения мёртвых, тебя ждет примерно то же. Ты будешь как бельмо в глазу. Воскресшие кадавры тебя растерзают». Ему хреново даже там, в городе, куда он так стремился. Парадокс?

О, эта область несовпадений. В последнее время приходится думать о ней днем и ночью. «Сначала здесь, на планете, появились тела, и они были по-своему счастливы, как животные. То был золотой век. А потом в них вдохнули души, как заразу из других, совершенных миров. Они, конечно, были супер, но не для этого места. Потому нам так погано». Это версия чело-века, невыносимо страдавшего от среды обитания. Его звали Кит. Мы работали в одной газете и часто просаживали получку в пивбаре. Кит жил в Предместье Блатнянского, в квартире жены, и ненавидел всех кого встречал на улице. Публика пригородов сводила Кита с ума. Он чувствовал себя будто в осаде. Ужас не покидал его даже дома: он постоянно ждал неурочного звонка в дверь, удара камня в стекло, взрыва бытового газа. Однажды он пригласил меня на день рождения его супруги. Ольга могла навести тоску на кого угодно. Такие унылые лица встречаются только в странах с холодной среднегодовой температурой. Я направлялся в гости, пребывая в дурных предчувствиях. Когда я вошел, Ольга уже была в последней стадии взвинченности. Ходила по квартире шагами цапли, вздёргивала плечи, будто пытаясь сбросить мужа с шеи, и норовила что-нибудь задеть на пути. После первых же рюмок Кит уже не мог говорить о чем-либо кроме этой паршивой окраины, от которой приходится так долго ехать в редакцию и вообще, народ тут – сплошное говно, отметил он с козьей улыбкой. Ольга вскочила как ужаленная, бросилась в подъезд и хлопнула дверью. «Они плюют мне под ноги, – сказал Кит. – Это Кафка... Я ничего не понимаю». Пытаясь привести Кита в чувство, я повел речь о мистичности народной души, но Кит не успокоился. Он ещё больше напрягся. Его надуманные проблемы требовали веских опровержений. У меня их не было. Я приступил к советам – как разменять его двушку на центр, но Кит ответил, что жена против, потому что, во-первых, здесь прошло ее детство, и во-вторых, потому что она дура. Разводиться? Нет, он не согласен. Он любит её.

Через неделю Кит всадил ножницы в местного наркомана, загремел в тюрьму, но там наконец-то почувствовал себя человеком. Страх его оставил, как только он проник в самую сердцевину хаоса.

Незачем рыться в файлах, чтобы найти подходящий пример. Повсюду умильные речи, куртуазность и корректность, но если вы *попали*, вас оприходуют на обед. В прошлые выходные я пришел к выводу: пусть будет всё. Всё одинаково нереально, – это лишь мысль, о которой забываешь поутру. Я не принадлежу ни к одной конфессии, в том числе к атеистической. Слова атеистов, вудуистов, христиан и мусульман, даже иудеев, мне кажутся отнюдь не лишёнными смысла. Они тащат по кусочку в один муравейник, который не видят в упор. Я уже не тащу. Переболел. Мне придется принять этот мир или спятить.

Читать могу только словари. Впрочем, недавно забросил и это занятие. Нужно понять, откуда я намерен уехать. Впрочем, не записывайте меня в патриоты, не надо. Я никогда не был ни патриотом, ни его противоположностью. Если вы назовете меня тем или другим, или кем-то средним, я тут же отвергну ваши обвинения. Я – никто, да и слово Россия не переводится. Это глиф, мистический знак. Белая магия. Я больше не занимаюсь магией.

Бывают дни, происхождение которых туманно. Утром серый смурной поток валится на работу. Днём они полны дурных предчувствий, безысходной злости и смирения по поводу мировой несправедливости. Вечером их разбирает смех – без причины, в автобусе по дороге домой. Что бы ни случилось, изнутри организованный хаос или обманчивый внешний порядок, эти дни остаются неизменными. Они словно иероглифы, чтение которых тем увлекательней, чем непонятней.

Все вокруг живут неподъёмно, всерьез. Последнему глаголу присвоили сексуальный смысл, что в переводе на среднерусский значит буквально: мелочь, дрянь. Все мои жены и подруги боялись заниматься сексом при свете дня. Так не принято. Не по понятиям. Грегуар объяснил: секс на небесах и в тюрьме – табуированная тема. Там трудно с сексом. Потому все бабы – суки, дуры, проститутки, ничего не понимают, а все мужчины, которые кроме понятий – лохи, пидоры, бля, и все желанное запретно, особенно естественное. «Наш криминал – это крим-анал. Тут главное, кто кого поимел. А если поимели тебя, то ты обязан поиметь другого. Круговая попорука», – резюмировал Грегуар.

По утрам у меня кружится голова. Я представляю, как чифирно-алкогольный аскетизм восходит над одной шестой частью мировой суши. День – дань. Ночью расцветает Шабаш. Этот цветок напоминает лотос, только он черный как смола. Его стебель восходит из невидимого океана. В процессе фотосинтеза он впитывает отеческий дым и выделяет надежду на утро. Ночь – пробуждение. Качание в тени, и грубая плоть, и белая кожа, и толпы ломаются в толпы, чтобы украсть, убить, сесть, рвануть по душе, разрыдаться, покаяться, выжить, выйти, и снова – по кругу, когда начнется харкающий рассвет.

Когда-то я был сконцентрированной тьмой. В разреженном состоянии, гармоничный и непонятный, я чувствовал себя шатко. Я забыл о будущем и прошлом, и полагал, что достиг настоящей жизни. Тем временем тьма внутри меня сжималась, взбивалась в черное масло. Ее толкал инстинкт роста, активного как кислота и направленного как взрыв. И вот я завис между рассветом и закатом. У меня даже *дел* нет. Кто знает, чем это кончится? Но – кончится, и это вне сомнений. Все остальное – суета.

Кстати, о суете. У меня есть работа. Она заключается в поддержке существования одного ультралевого журнала, который до перестройки был ультраправым. Я занимаюсь технической стороной выпуска: типография, контроль за версткой, макет. На улице Сизифа, в похожем на ссохшийся кремовый торт особняке, находится редакция. Денег не платят, как везде. В день гипотетической зарплаты редактор убегает на дачу. Странно, что он еще как-то реагирует на происходящее.

Сегодня я ушёл из духоты толстых стен, в которых проистекает журнальная жизнь, чтобы поразмышлять: как получилось, что я начал вести эти записи? Мне придется что-то отмечать, что-то касающееся только меня и произошедших во мне изменений, но начать с чего-либо невозможно. Не за что зацепиться. Все было и будет со всеми. Писать, в сущности, не о чем, но я не страдаю отсутствием материала. Напротив: проблема в его избытии. В его абсолютной бесформенности, такой ясной и близкой, что молчать больше нет сил.

*

В моей жизни среди людей не было чего-либо интересного. Всё происходило в той недостижимой для большинства сфере, которую называют душой. Но все изменилось. Совсем недавно, год или два назад, я пытался написать книжку о невесомости, в которой оказался. Ничего не вышло из этой затеи. Окна дома, который я снимал в те дни, глядели в здание ДК, прочный деревянный сарай с ионическими колоннами. Первый приступ перестройки вымыл из него все кружки вязания-шитья и рабоче-крестьянские дискотеки. Затем его отдали под коммерцию, после присудили рок-клубу, но не прижилось, и теперь он зиял день и ночь отрешенно, потерянно и легко, сквозь словами, которыми я удосуживался его наградить, и походил на старую усадьбу. ДК был абсолютно бесполезен, и по запарке ранних дней капитализма никто не сподобился отдать его под склад или сбавить, и сносить его никто не собирался. Я глядел в его черные проемы и отдыхал. Он высился не как затонувшая церковь, а наоборот – как единственное, что уцелело от потопа, который, слава богу, случился, и если бы не он, то все сгорело в переполненной камере. Когда я смотрел на него, выражение «снять дом» обретало для меня новый и весьма существенный оттенок. Снять дом как ботинки, вернувшись домой, как часы и трусы, отправившись в ванную, как резиновую шапочку сна, когда вновь выходишь в балаган, где торгуют порноиконами. Звучит старо, но весь мир – матрёшка; в одном доме – другой, в нем третий и так далее, до самой сердцевины, до того, что не имеет названия, что меньше молекулы, больше вселенной; снять дом и сгинуть, и забыть, и углубиться в нечто такое, куда порой так нелегко вернуться, если не снять жилье в забытом крае, где минус тридцать в каждой душе.

Некому и не о чем писать. К такому выводу я пришел, созерцая руины ДК. В тот период философского осознания руин меня посещали не идеи, а подруги и знакомцы. Самым частым гостем был Ярослав, художник-поэт-музыкант, кипучий, сюрреальный, зацикленный, всегда воспламененный какой-нибудь идеей. Он написал музыку к моей книге «Чапаев. Молодые годы». Ярослав приходил со своей женой, чтобы она приготовила закуску. Люба умеет и любит готовить – не столь уж тривиальное сочетание. От пищи, приготовленной её руками, поднималось такое глубокое тепло, что обед превращался в молебен. Люба приводила все в оживление, как будто прилетала священная птица, привлеченная запахом жертвы. Она могла спасать заблудших, делать технарей поэтами, а бандитов – агнцами; ей не нужно было говорить – достаточно тарелки плова. Она цвела, и никакой зимы; все плоды с этого дерева сочились благодатью.

На фоне её скромного величия Ярослав смотрелся нелепо. Глухой к её молитве, он вертелся на сковороде своих амбиций и, пока на кухне совершался храмовый обряд, проповедовал всуе. *Шея, надутая ветром.* Когда я слушал его, мне вспоминалась эта бойкая фраза, изобретенная Святым Августином. Тюремная жажда бытия. Ветер, поднятый его словами, гудел в проводах, сносил печные трубы, распахивал заслонки и бросал в лицо пепел. В топку, в топку! Обрывки слов горели точно разноцветное тряпье, извергнутое ветром из печки. Несколько лет я уповал на то, что из печки вынесет пылающего слона, или рыжую байкершу, но летела только ветошь и ничего кроме ветоши.

Ярослав прибегал обычно в выходные, когда я отмокал в водах Луны, на тёмной её половине. Он требовал горения. Несмотря на сиюминутность своих творческих планов насчёт раз-

богатеть, он обижался всерьёз и надолго, а поводов для обид хватало всегда, и не только я был источником, но вся объективная реальность, в которой мы не позаботились о богах, что должны были позаботиться о нашей удаче. Долго я удивлялся факту его существования, ведь при таком раскладе он должен сгореть в один день, но не сгорал, и агония продолжалась.

Вокруг меня вращалась мёртвая галактика, населенная дикими расами суккубов и выродившихся воинов света. Достаточно было выглянуть из окна, чтобы холод пробрал до костей. Знакомые по большей части состояли из серых козлов и сломленных гуманитариев. Они верили только в то, чего у них никогда не было толком. Слово искусство у них провоцировало маркетинговые ассоциации, но в целом вызывало головную боль. Их мысли о творчестве убивали надежды и порождали их в небывалых количествах, потому что главным понятием была зависть. Стоило прислушаться, как сразу охватывала кровососушая атмосфера, где сновали электрические зайцы, отчаянно и ровно молотя в свои маленькие барабанчики.

Целыми днями я не покидал свой дом. Иногда появлялся Егор, неудавшийся поэт, зато вполне оперившийся оптовик. Он смотрел на мою вселенную склочным взглядом и перебрывал в руках обойму к пистолету Макарова. Обойма была пустой. Одну пулю он берег на всякий случай. Жизнь – русская рулетка.

Я с тревогой жду времени, когда смогу забыть о поэтах, погибших за последние десять лет. Они живут или думают, что живут, но лучше бы однажды в офисе им повстречалась Смерть, окончательная и бесповоротная, самая прекрасная из женщин; что ни день я заходил в отель «Усталость», мягко мерцающий возле отданной под коммерческие рейсы взлетной площадки, где раньше встречали ангелов. Что за участь – не быть здесь, не быть там, и быть везде, с преданным своим даром как с гирей на шее. Поэты – штрафной батальон. Они ушли первыми, а единицы, вернувшиеся домой, остались калеками. Каждое наступление толпы убивает их, взлетающих с мечом на танки. Их победы теперь вряд ли заметят, как, впрочем, и могилы; они не от мира сего, но как получилось, что без них не стало этого мира? Мне надоело чувствовать себя последним поэтом и смотреть, как уносятся в небо погибшие парашютисты, раскачивая белыми крыльями. Ко мне приходят только тени, научая меня, как избавиться от слова *слишком*. Они говорят, что это слово взяло меня в оборот и лишь по этой причине я не способен умереть как все честные граждане. Чем я могу возразить? Мне слишком весело на их смурной работе, слишком скучно на их вечеринках, слишком свободно там, где нужно ощущать благовеинный трепет, вызванный оккультной логикой продаж и приобретений.

Когда от меня требуют написать биографию, что случается не так уж редко, я чувствую растерянность. Понимаю, что нужно начать с самого начала, с самых отдаленных событий – и это пропуск в никуда.

Как я уже сказал, всё началось очень давно. Когда Тор молотил своей кувалдой, мой бедный череп служил ему наковальней. Искры, создавшие мир, угасают на наших глазах, но с тех пор ничто не может избавить меня от памяти первых дней, окутанных туманом. Разум должен быть алмазной кометой, а иначе зачем ему быть?

Я читал в книгах, что кое-кто в России бывает счастлив, но, родившись в этот раз, я понял, что мой ID-отец промахнулся. С самого начала все пошло неудачно. Мои собратья-волхвы разбрелись кто куда. Одни ударились в коммерцию – астрологию, PR и построение собственных сект, другие – в теософские дебри и глухой оппортунизм. Мне всё чаще кажется, что Лорд-Аватар нас предал. В тот день, когда он покидал Россию, мы собрались в Шереметьево-2 – тридцать волхвов со всей страны, не посланники, а уцелевшие. Мы представляли знаки всех семи родов: Одина, Шивы, Прометея, Зороастра, Иисуса, Кецалькоатля, Аматаэрасу. Понадобилась охрана. Байкальская когорта выстроила живой коридор до трапа самолета. Грегар еще командовал своей центурией. Он печально подмигнул мне, когда вслед за Параэххартом мы проходили под вознесенными в небо штандартами. Лорд-Аватар как всегда был энергичен и бодр. Взгляд его змеиных глаз пронзал насквозь, драконья чешуя сверкала, и пур-

пурный плащ трепетал на октябрьском ветру, будто флаг тонущего фрегата; гремела барабанная дробь, алые гривы на шлемах воинов рвались, пламенели как в дни побед, отчего на душе становилось паршиво и дико. Когда запели трубы и Параэкхарт поклонился каждому из нас, волхвов, я понял, что прошел последний день, когда я надевал свою белую рясу.

Лорд-Аватар предостерег нас от опасности раскола. Может быть, это сыграло особую роль в том, что теперь я всё чаще думаю о доктрине Отступников. Как известно, отщепенцы – дзены и адепты школы Утгар Адвайта – живут в труднодоступных урочищах Саян и Тибета, а также в пустыне Черчен, окруженные войсками дружественного Параэкхарту Китая. Оппозиции запрещён въезд во все страны мира. Из всех моих знакомых живого Отступника видел только Грегуар. Он участвовал в антитеррористической операции, когда Отступники объявили войну всему миру. Странная история. Философский самиздат, дошедший до меня, убеждает в исключительном миролюбии оппозиции. То же утверждает Грегуар. Когда соединенный спецназ Медвежьего и Змеиного легионов ворвался в монастырь, все монахи разом исчезли, едва не сорвав успех операции, добавил Грегуар.

Учение Отступников – недвойственность. Согласно этой доктрине, добро и зло суть одно и то же, являясь равноценно иллюзорными объектами сознания. Разумеется, я слышал об этой доктрине и раньше. Недвойственность нынче в моде даже среди торговцев, не говоря о растаманах. Но если вы осознали её по-настоящему, против вас поднимется весь социум, от бичей до президентов.

*

Совсем недавно жизнь текла спокойно, как расплавленный свинец, и я не задумывался ни о чем трансцендентном. Был женат на Светлане, жил в каком-то пригороде на окраине области, приатке к большому заводу и паре звероферм, и вместе с бухгалтером Кешей возделывал ниву издательского бизнеса. В конце концов мы оказались крупно должны бандитскому банку. В один прекрасный день ребята предупредили нас, что шутки кончились и у нас начались проблемы. Мы навели справки. Похоже, мы попали.

Я никогда не представлял себя в настолько глупой ситуации. На все вопросы жены и Кеши я отвечал смехом. Счётчик наворачивал космические суммы. О возврате не могло быть и речи, но Кеша ничего не хотел знать. Впрочем, он держался молодцом, лишь на пару минут сорвавшись в отчаяние. Кеша всё просчитал. Вариант лишь один: мне нужно ехать в облцентр, открывать новую фирму и срочно делать миллион долларов. Гениальная идея. Проще не бывает. Кеша собрался было стоять насмерть, не выдавая врагу мой новый адрес, но в конце концов мы пришли к соглашению, что спрос за все проблемы – с меня, заварившего кредитную баланду. О семье забыть. Развод. Вдвоем с супругой мы отрепетировали проклятия в мой адрес. Клянусь, той постановке позавидовал бы сам Эйзенштейн.

Так или иначе, теперь я мог вернуться в родной Закутск. Я покидал пристанище скорбей с легким сердцем. Медвежье воспитание говорило мне: жаль, что тебя не убьют, максимум покалечат, и это самое хреновое, унижительное. Скорее всего, братки уже приготовили один из своих вариантов. К примеру, я открываю фирму, беру кредит, все деньги отдаю, а потом получаю долгую задумчивую судимость или отправляюсь кормить червей. Не сгинуть мне на поле брани, ведя в атаку легион. Позорная история. Свежий воздух с привкусом крови.

Не утруждая себя поиском углов, я жил в редакции «Еврейского шахтера», где по сей день секретарит Ахмед. Ночевал на пёстром диване в приёмной под гобеленом «Моисей выводит бригаду стахановцев из запоя». Дни коротал в секретарской. Что ни день, то анекдот. Ахмед старательно пытался забыть, что он суфий, но его приколы многозначительно терялись в моих извилинах, как дервиши на улочках Ургенча. Он умудрялся сдавать очередной номер газеты в перерывах между стаканами испанского портвейна и в рёве Pink Floyd, потому что я выкручивал громкость до упора. Бзик Ахмеда – компромат. Он прирожденный журналист,

актер на подмостках общественных заблуждений. Чем надуманнее факты, тем больше вероятность, что Ахмед занесёт их в особую папочку. «Правда никому не интересна, – пояснил Ахмед. – Правда наводит тоску. Негде порезвиться». Короче говоря, в суфийских притчах с грифом «секретно» минула осень. Зимой я оказался в этой квартире.

Было свободно, хоть и несколько однообразно. Я лежал на матрасе, почитывал французскую классику и обсуждал с Отцом перспективы иудаизма в Конго. В конце концов закончилась последняя книга Пруста, а вместе с ней и терпение, и одним морозным утром на пороге возник Грегуар.

Он только что вернулся из Лондона. Его служба достигла апогея – он два года служил в Пурпурной когорте, личной гвардии Параэксхарта. Не без облегчения Грегуар сообщил, что отныне он вольная птица. «Я даже согласен стать гражданским человеком, но ведь в России это невозможно», – сказал Грегуар и показал перстень с черепом – знак принадлежности к охранному агентству, которое предложили ему возглавить.

Моя история сразу настроила его на деловой лад. На следующий день мы отправились решать проблему. Грузный небритый дядя с интересом пролистал мою переписку с банком, цыкнул фиксой и заключил:

– Типичная наебаловка. Они должны вам три тысячи зелёных, но вы их не получите. Идёт?

Проблемы кончились раньше, чем я успел себя представить тонущим в дерьме на очистных. И путь был открыт, но я вдруг понял, как всё надоело. Той зимой я вернулся к стихам, и приходилось посылать музу подальше, чтобы поспать пару часов.

– Высокогорный воздух свободы, – иронически заметил навестивший меня Антон. – Все это, братишка, до добра не доведет. И эти стиши твои...

– Я для этого родился, – ответил я.

– Если бы все знали, для чего они родились, то жизнь была бы малиной, – весьма учено произнес Антон. – Так что самый верный путь – широко развести руки и сгребать всё подряд. А потом отбирать во всём этом бабки.

Я не внял его совету. Честно, я не всегда считал Антона идиотом. Так бывает: когда ты продолжаешь расти, все знакомые либо отворачиваются, либо стараются тебя переделать, вернуть обратно в стойло. Антону понятны трагические изменения в моей жизни – разводы, бизнес-обломы, но едва уловив что-то позитивное, он начинает морщиться. Антон полагает, что мир обречён и потому должен взорваться как можно скорее; все хорошее только питает его агонию.

Кода я встретил тебя, Каннибель, в запасе у меня была лишь пара-тройка катастроф и отверстая бездна. Буквально за день до знакомства с тобой я гулял по набережной и обдумывал план побега. К тому времени я окончил свой первый роман и на радостях отправил его во все известные мне издательства. Мне всегда было скучно корпеть над сюжетом, измышлять нечто увлекательное, но я свято верил, что мой текст моментально оценят. Немного подумав, я отправил копию во французское издательство «Fatigue de Litterature». Ответили только французы. Разумеется, они не печатают новых книг.

Это потрясающе – писать новые книги в старой стране, слегка оштукатуренной новейшими заблуждениями. Я возмечтал о бегстве. Уехать в Грецию и вести растительную жизнь, но у меня не оказалось ни решимости, ни денег. К тому же вскоре пришло сообщение о Борисе, несостоявшемся капеллане десятой когорты. Он имел и решимость, и деньги. Ему предложили перебраться в Германию, но он отказался. Борис был твердо намерен уйти от Кали Юги. Продал квартиру, поселился в Крыму. Вырыл землянку и питался чем Бог пошлет – воровал фрукты в садах частного сектора, собирал зёрна и ловил бычков в местной речушке. «Максимум, что мне грозит от этой гребучей цивилизации – отравы в воде», – сказал Борис перед отъездом. Вскоре он получил толпу заезжих рагулей, которые оставили от Бориса мешок с весьма усид-

чиво переломанными костями. Но кто виноват, что необжитые пространства остались только в Сибири?

Я – последний литературный герой. Я теряю сочувствие. Однажды я взглянул в себя и ничего не увидел. Стал даже не двусмысленным, а полным множества странных, несамостоятельных, обрывочных смыслов. Я походил на библейское чудовище, усеянное глазами, но все они смотрели в некую воображаемую точку, исчезнувшую с карт мира. Так закончилась первая попытка оценить ситуацию. Возможно, если я соберусь повторить этот шаг, мне придется миновать поля проигранных сражений с ещё не убранными душами и вороньем, обгладывающим шёпот, где нет ни призрака, ни звука, ни богов смерти, ни смерти богов, но только безразличное эхо, воронкой увлекающее каждую мысль.

Я настезь открыт. При свете дня из меня хлещет как из фонтана, ночью я падаю в пропасть. Никому меня не достать – только убить, не больше. О, эти несчастные, к которым так меня влечет... Они боялись и не понимали меня. Пытались смешать с дерьмом. Но я не мог исчезнуть. Я – один из вас, и не важно, читаете ли вы сейчас эти записи. Это признание не кажется мне забавным, хотя и скучным оно мне тоже не кажется, но все-таки надо признаться...

Любое облегчение оказывается иллюзией. Я не могу быть счастлив, если счастлив я один. Это ничего не решает. Но чем я могу помочь?

Я развратил себя верой в этот мир. Измышлял, изыскивал, прятал себя в обществе, менял привязанности, но всегда переигрывал. Рано или поздно картонная пирамида, возведенная мной, должна была рухнуть. Так пусть ревет Хаос! Священная территория, благородная ярость. Системный подход, рубрикация, регистрации – на фиг! Мы пришли на Землю не для того, чтобы стать роботами, не затем, чтобы стать безмозглыми ангелами, а чтобы стать людьми. Чтобы стать человеком, мне нужно разрешить себе всё и потерять последнее. Но вначале нужно пережить этот холодный туман, ведь созданное нами гибнет бессмысленно и бесследно. Мы плывем как рыба на нерест, чтобы кончить икрой и всплыть брюхом кверху. Жить в полном сознании значит ходить по волнам. Я понял это благодаря тебе, Каннибель, хоть ты и подарила мне не слишком много участия.

Наше сближение выглядело медленным и необязательным. Ты отличалась от тумана лишь призрачным своим силуэтом, и жизнь твоя была столь же пресной, что и у твоих подруг. Что отделяло тебя от прочих? Лишь то, что предложил тебе я. Каннибель, я сотворил тебя из ничего. Ударный труд на фабрике иллюзий; мир желаний, мир прообразов, мир форм. Из этой массы я собрал тебя по кусочкам. Каждая любимая женщина имеет два лица: одно – прошлое, необожжённая глина; второе принадлежит тому, кто создал её, окрасив своим огнем. Теперь мне предстояло познать муки бога, упустившего дело рук своих.

Как я сам, ты была в разводе, но снова ввела себя будто глюкозу в вены старого дурака Гименея. В первый день знакомства, если ты помнишь, мы сошлись во мнении, что убийствен не развод, а брак. В процедуре развода есть нечто успокоительное, нечто от природных катаклизмов или похорон. Мы сделали всё что могли, отдали дань и сбросили отравленную шкуру, и остаётся лишь сидеть и наблюдать, как твою боль методично поглощают юридические канцеляризм.

Я не светский человек. Не люблю и не умею болтать с женщинами *за жизнь*. Для таких бесед у них есть подруги, а у меня – знакомые, всё прочее суть плоть и чувства. Но в этот раз все начало меняться. Я бросил фразу, ты ответила, и в конце концов мы договорились до того, что жить категориями уголовного кодекса значит быть в какой-то мере сверхчеловеком. Страсти, какими бы сильными они бы ни казались, в этой книжечке назывались холодно и тупо: совершение насильственных действий с целью вымогания, или с другой целью, изображенной бескровно, будто бы их сочинял какой-нибудь финский бог. С этой точки зрения любое сильное чувство тянет на пожизненное, и физическая смерть не предел. Уголовный кодекс – биб-

лия XXI века. Вы не найдете такого идиота, который не читил бы эту книгу тайно или явно, думая о будущем или *post factum*. Уберите УК – и ничего не останется в мире людей. Вся жизнь в этой железной сутре аккуратно рассортирована, упакована в серую бумагу. Только так и можно смотреть на жизнь, подумалось мне. Но вскоре появилась ты, Каннибель, и я выбросил эти мысли, пытаюсь настроиться на волну, на которой проходит жизнь твоего ума. Боги мои, как ты легкомысленна! Над тобой – небо, впереди – залитые светом лужайки, Солнце в вечном зените и полная Луна, и ты летишь вперед, не ведая о земном притяжении. Если ты хочешь послушать меня, я расскажу, как сумею...

Когда известный тебе плод сорвался с мирового древа и ударил по голове сэра Ньютона, он открыл закон, о котором давно знают все страдавшие в любви. Земное притяжение – страшная вещь. Я чувствовал себя обреченным, словно христианский миссионер в Африке. Ты – одна из каннибалов, и ты прекрасна, потому я назвал тебя Каннибель. Все прежние имена отменяются: осталось только то, что есть сию минуту.

С тех пор с тобой решительно ничего не изменилось, да и я веду прежнюю, в сущности, жизнь. Когда появляются деньги, иду в кафе «Волна». Любые названия ничего для меня не значат, но «Волна» – это все-таки лучше, чем «Шансоньерка», или «Пещера», или какое-нибудь из тех сопливых имен, которыми так любят называться провинциальные кабаки. Здесь та же публика, что и повсюду, и готовят ни хуже, ни лучше, чем в других кафе. Может быть, именно это и привлекает меня сюда, плюс то, что я терпеть не могу готовить. Здесь уже три или четыре раза меняли персонал, но всегда он оказывается поварихой из трущоб и крашеной блондинкой на раздаче, что дни напролет болтает с очередным плебей-плейбоем. Здесь тот же паршивый кофе, что и пять лет назад, но я не могу от него отвязаться. В нем смешан запах улицы, текущей за витриной, запах слов, слетевших с твоих губ, и лимонный привкус фонарей. Все тут слегка потертое, зато настоящее – кожа на стульях, кости в обивке, мясо на столе. «Волна» неизменна; сюда приходят и уходят, а следы исчезают к утру, оставляя лишь горсть монет, которые исчезнут в великом денежном обороте. Все происходит на столе передо мной – кафе в кафе, стакан в стакане, и потому мне бывает так невыносимо легко выходить в дождливый вечер, зная, что никто меня не ждет, и это взаимно. Каннибель, это проходит. Я снова чувствую приближение

*

3:14:15. Никаких результатов.

Смотрю на облака. Где-то там, за бледно-синей пленкой, змеится Млечный путь. Как будто сон или бессонница, как будто животное, галактика рождается без боли. Она неспешно крутится вокруг оси... Выглядывает из утробы, нюхает воздух. Какие нынче погоды-с? Там нет погоды, в этом новорожденном мире. Там нет ничего, во что можно поверить. Ни тьмы, ни света, а здесь я что ни утро наблюдаю, как звезда любви согревает планету ненависти.

Это происходит со всеми. По крайней мере, со всеми, кого я знаю. Они просыпаются ни свет ни заря и со сжатыми кулаками бегут на остановку. Жизнь – потом, вечером, на нее еще нужно заработать. Вечером они бросаются в погоню за порхающей бабочкой-душой, и вновь Земля, и два полярных чувства, разброс и притяжение. Боги мои, почему я на экваторе? Где мощь обледенений? Глобальное потепление? Где цунами? Тишина. Спокойствие. Любовь и ненависть, всё мимо. Пройти между рядов – кино скоро закончится, или закончилось, но все так крепко спят, что не заметили финального аккорда.

Сижу на скамейке и слушаю, как кровь расходится по полюсам мозга. До потопа еще далеко. Сегодня среда. Пока еще привычная среда обитания. Я пишу эти строки, а до эмиграции три дня. Двое с половиной суток. Плюс шесть часов до Москвы, плюс час сорок до аэро-

порта Шарль де Голль. Время, проведенное на вокзалах, можно не считать. Меня уже нет. В кармане – два билета. Один – для меня, другой – для Каннибели.

Билеты становятся мыслями, а мысли – медузами. Скользкие, почти незаметные в потоке ума, они жгут не по-детски. Тотальное беспокойство. Я не могу стоять, не могу лежать, не могу дышать. С чего бы это? Я не стремлюсь к чему-то такому, что было бы для меня невозможно. Да и какая может быть цель? Откуда ей взяться? и к чему она способна привести? Может быть, я всего лишь пытаюсь применить к привычному миру категории, никогда ему не принадлежавшие. Может быть, я умер и не заметил этого; впрочем, никто не заметил. Значит, можно имитировать активность, пока в этой биомашине не кончится срок гарантии, пока хаос как высшая форма порядка не переварит меня в себе. Пафос, цели, самобичевание свалены в кучу: пусть гниют, проникают друг в друга. Эволюция спишет все. Нет остановок.словно сибирский кот, словно йог над уровнем пола я наблюдаю протекающие процессы, не вмешиваясь, ничему не мешая, и хотя каждая дверь открыта призывно, мне известно, что за нею – несколько поворотов и стена.

Шаг, ещё шаг. Падаю в чёрные голодные лица, словно утка по-пекински обрела мощные крылья, но вспомнила о чувстве долга и вернулась на стол. Кожа – фантомная форма. Мысли – фантомная боль. Мозги, мои наложницы, отправлены в Париж наложенным платежом.

И тем не менее, я всё еще жив. Я мог бы назвать это состояние пустотой, но это слишком модное, слишком пекинское слово. Ничего оно не выражает, в том числе и пустоту. Скорее, это отдаленность. Латинский *ablativus*, удалительный падеж, тоже не то... Непричастность? Полнота? Ровное, глубокое? Может быть. Но всё не то, всё. Никаких программ – просто работает телевизор. По идее, я должен быть счастлив. Три месяца я не смотрел ТВ и не имел доступа в Бодинет. У меня почти нет денег, почти нет работы и совершенно точно нет никакой страны. Когда я говорю о себе, чувствую замешательство. Должно быть, нечто похожее испытывает сперматозоид, начиная разрастаться во что-то большое и неясное. Грядущая боль не дает ему покоя.

Позавчера приходила Рита. Она ничего не знала. Пришлось сказать. Не поверила. Показал билет. Рита вела себя страстно или, скорее, странно, учитывая ее нудный характер. Вспомнились эллины, которые делили всех женщин на гетер и матерей. Рита, определенно, женщина-мать. Нет сомнений – она нарожает дюжину потомков. У Риты лунное миловидное лицо, гладкие волосы, она предсказуема, приземленна; когда лжёт, всегда переигрывает, артистичность – не её конёк. Рите надобен жлоб, для коего весь мир – лишь тень от его гузна. Рита сообщила, что ей был сон: голос предрёк, что она будет счастлива, если первого ребёнка родит от меня. В ванной, с первыми манёврами её молочного тела, я вспомнил о Каннибели. Ее образ промелькнул в зеркальной глубине между нами. Я посмотрел на Риту и понял, что – нет, *au revoir*.

И тем не менее, билеты... Прелюдия к ним была очень долгой и мучительной. Я вновь туманно изъясняюсь... Cancel. Сменим позу во сне.

*

Сегодня утром звонил Алехан. Они в «Новой Закутской газете» хотят, чтобы я написал о русской национальной идее. Нет ни малейшего желания. Я еще не завершил статью о Льве Толстом. «СЭР, Свобода Это Рай, – сказал я Алехану. – Это и есть наша идея. Напиши сам. Гонорарий получишь». – «Это что за САРАЙ?» – спросил он. – «Зэковская татуировка. Партак, компрэндо?»

Забавный звонок. Волна воспоминаний. Одна моя подруга была фармацевтом. Нельзя сказать, что она отличалась особым цинизмом, но когда папа купил ей небольшую аптеку,

главным праздником для неё стали ежегодные эпидемии гриппа. Летом она презирала весь мир. Безыдейное, счастливое солнце.

Но оставим... На сей час у меня другие проблемы. Между мной и миром – Каннибель и два билета в кармане. Может быть, мне удастся пробиться в реальность, но это случится лишь когда я отвечу на несколько вопросов. Последние два часа мне казалось, что разгадка близка. Пытался отключить ум, что исправно отсчитывает время и слова. Несмотря на полную исправность организма, явное отсутствие атеросклероза, проблем с печенью и перепадов давления, результат – ноль.

Греет грудь мою лёгкий невроз. Эти опыты продолжаются месяц или два, трудно сказать с точностью, сколько. Помню, что начал в один из северных месяцев – кажется, в декабре. Если процесс подчиняется мировым циклам – весна-лето-осень и так далее – то разгадка наступит не раньше ноября. Главное достижение на сегодняшний день – общий вид проблемы. Это туманность, сгустившееся облако, похожее на облако газа; от него веет холодом. Сознание исчезает. Вместо него – безмятежный прекрасный мир, хранящий в себе всё и расположенный вне понимания... Говорить о его локации, пожалуй, бессмысленно. В этом странном in-out напрочь отсутствует восприятие времени, ибо нечего отсчитывать. Я предвижу наполовину скрытую массу, готовую разлиться по ячейкам во все стороны. Это предчувствие или предвкушение, или чувство, возникающее у ворот храма. Этому сравнению, по всей вероятности, можно довериться, но в самом деле все не то. Весь материальный апгрейд должен сойти слой за слоем, как штукатурка, как мэйкап на старой шлюхе. Он будет отваливаться кусками, но этот образ слишком напоминает воспоминание. Это происходило со мной или с другими уже когда-то в прошлом, или обязательно произойдет в будущем. У всех нас общая душа.

*

Вдыхая, вдыхающий, будучи вдыхаемым. Зародыш в утробе времени: не может родиться обратно. Черная Дыра!.. До чего удачное сравнение. В этом нет мысли, нет амбиций, нет желания. Это втягивает в вакуум и превращает в нечто более пустое. Боюсь, описание этого есть моветон. Глаз читателя привычен к конструкциям, на которые якобы можно опереться. Ну что же, попробуем, хоть я не философ и, кажется, не поэт. Я даже не писатель. Никогда не думал влачиться по этой стезе. Ничто не заставило бы меня заняться древнейшей российской профессией, если б этот мир был другим, моим миром. В России всегда было много писателей. Больше, чем денег для гонимых и в особенности тех, кто может оценить их по достоинству. За годы вербальных мытарств я понял одно: для автора литература не имеет ни малейшего смысла, если она не помогает жить. Иначе всё летит под откос. Сжигать слова и мысли – возможно, единственное, что нужно для свободы. Я пришёл к этому выводу одним продымленным сентябрьским вечером, когда на пустыре в Новом Районе скармливал костру свою рукопись. (Рукописи, замечу, горят превосходно. Чем лучше, тем ярче). Завершённая книга мертва для того, кто её написал, и есть большой смысл в обряде кремации, гораздо более древнем, нежели паскудный обычай удобрять трупами землю и участок маленькой измученной памяти. В этом утраченном зрелище – бездна очищения и настоящей духовности, если вы понимаете, о чем я говорю. В общем, через год я опять пришёл на пустырь с новым романом – сборником разрастающихся одна в другую сказок, посвященных Каннибели. Четыре страницы мне показались недостойными огня; в них царила чистая длительность жизни, и я их оставил.

Меж тем заявлена слишком большая тема. Отстегнуть деревянные ремни скамейки. Пройтись.

Итак, продолжаем прогулку. Neverdance. Rivermind. Ни одного слова, ни одной мысли. Всего лишь полдень, сжавшийся в сгусток солнца. Передвигаюсь по воображаемой прямой, ведущей через полосатый брод на другой берег пешеходного острова. Эта избитая метафора

меня успокаивает. Как будто пишешь историю для выходного выпуска газеты. Ты укоренён в этом мире, каким бы он ни был. Тебе нормально. Смиранный или гордый, большой или мизерный, ты свой, и на тебя распространяются понятия городской философии. Так или иначе, город начинает думать вместо меня.

Вот и остановка. Граффити на щеках павильона. Народу немного. Мимо – танцующие походки и ветер, сгибающий большие городские тополя. Автобус двадцатого маршрута сообщением «Железнодорожный вокзал – Аэропорт» вбирает мою плоть с деловитой разборчивостью. В салоне до меня начинает доходить, что маршрут неслучаен. Что ж, еще один повод увидеть ее. Каннибель.

Нет, имя нужно изменить. Лучше так: Лаура.

Я познакомился с Лаурой на кладбище. Этому событию предшествовали месяцы, проведенные в абсолютно шизоидной атмосфере. Год назад, в апреле, я отключился прямо в редакции с сильной болью в груди. Вызвали скорую. Поставили укол. Стало немного лучше. На следующий день кое-как добрался до больницы. Доктор заверил, что с выводами лучше не спешить, а пока необходим покой.

Повторный визит состоялся через три дня. Доктор принадлежал к разряду врачей, считающих, что больной должен готовиться к самому худшему. Будничным, хоть и несколько огорченным голосом он сообщил, что имеются все основания подозревать у меня рак сердца.

Я почувствовал себя словно во сне. Удивившись собственному равнодушию, я внимал доктору с каменным лицом. Последний глядел на меня с одобрением.

– Тридцать два года – неоднозначный возраст, – заметил доктор и улыбнулся. – Многие помирают в тридцать два. Особенно люди творческих профессий. Вот, например, Иисус. Так что нет никаких причин беспокоиться.

Минуту или две я смотрел на крышку стола. Сидевшая рядом с доктором регистраторша вздохнула, словно пылесос.

– В общем, я бы не стал расстраиваться, – продолжил доктор. – Не падайте духом. Есть химиотерапия, и это шанс. В крайнем случае, помрете. Или волосы выпадут.

Я пожал его тёплую руку.

В коридоре было душно. Обернувшись только на миг, чтобы избежать драматизма, я взглянул на белую дверь кабинета. Дверь мягко, но уверенно закрылась. Я направился обратно, не глядя по сторонам.

Вернувшись домой, я отказался от ужина и лёг в постель. Раздумывая о том, что следует отделить свое спальное место от ложа своей супруги, отстранился от ее половины постели и забылся мигающим слайдовым сном.

По случаю грядущих похорон спешно прибыла тётка жены. Тёща прислала свою сестру. Как звали её, не помню, я обозначил ее Пелагеей. Была она женщиной набожной и говорливой. Она вошла передовым отрядом смерти, вестницей на бледном коне; за нею следом был готов сорваться весь табор основательной деревенской родни. Приготовления не заняли и часа. Откушав чаю, тётка возрекла о муках ада. Я ощутил себя апостолом Петром, скрывающимся в катакомбах от полиции Нерона. Я простирался перед ней осенним полем, я приготовился внимать молитвам бедуинов, индейцев навахо, католиков, маздейцев, ариан, хасидов, протестантов, свидетелей Иеговы, адвентистов седьмого дня, кришнаитов, зороастрийцев, манихейцев, назареев, джайнов, староверов, сайентистов, трясунув, скопцов, масонов, вишнуитов, полярников, подводников, психоаналитиков, молитве чьей угодно, ибо я жаждал верить во всё. Оглушая меня лунным сиянием, Пелагея работала не покладая языка. Речь её была преисполнена яда, меда, парадоксов и самых невероятных ухищрений, которые она называла мудростью. Откровение длилось пять или шесть ночей, прерываемое фальцетным песнопением и террористической поэзией Иоанна. Поскольку я находился в крайнем напряжении всех

сил и сгорал, пытаюсь спасти свою душу, то однажды под утро смертельно устал разгрести всевозможные звуки и впал в сумбурное забытие.

То, что прошло через мое сознание той ночью, вероятно, было малоизвестным фильмом Джармуша. Море гниющих трупов, скользких и мягких, кишело червями. Над морем возвышались две скалы – белая и черная. Я плыл в лодке. Лишенные опоры, скалы ходили вправо и влево и с грохотом бились друг о друга, выбивая искры и камни, точно безумный атлант пытался высечь огонь. Течение несло меня в самое пекло, и кто-то причитал леденящим голосом, что не надо идти между ними, что если я пойду, то умру моментально, и самое надежное – влезть на одну из скал. И все можно было списать на козни сатанинские, если бы меня не пронзило такое чистое, такое легкое пламя, что я вскрикнул от счастья. «Что? Что?!» – склонилась ко мне Пелагея. «Два столба – одни ворота... Два столба – одни ворота...» – прошептал я, глотая слезы восторга.

– Преставляется, – прошептала тетка и перекрестилась. – Давай бегом за бабушкой, а я закуску приготовлю.

Я так и не узнал всех обстоятельств этой ночи. Знаю только, что наступило утро.

Стараясь не разбудить жену, я встал и покинул спальню. Рассвет едва брезжил. Все ужасы растаяли, словно сугроб под дождем. В сознании царила пронзительная ясность. Я чувствовал почти физическую благодарность Пелагее, как будто я отравился тухлятиной, а она напоила меня марганцовкой. Я нашел такую легкость на душе, как будто никакой души не было. Я готов был выскочить за дверь и жать руку первому встречному, лететь, не касаясь земли, облаков, непричастный к самому воздуху. Я взглянул в окно и увидел небо – такое близкое и теплое, и мелкое, будто дно прозрачной речушки, только дна в нем не было; я видел насквозь, ни на чем не задерживая взгляда, словно рядом дышит океан, и нет ничего кроме океана, и это было так чудесно, и так явно, что даже не о чем было думать.

Я принял душ, отряхивая память о болезненных ночах. Затем, накинув халат, неспешно позавтракал. Где-то за стеной включили ТВ, и мне подумалось: как это просто – выйти из мутной реки и выключить позорный телевижен.

Я принялся за кофе, когда из прихожей накатил скользкий шум. Возник огромный волосатый мужик в боксерских трусах и с крестом, лежавшим на раблезианском животе. С торжественной печалью поглядев на стол, а после на меня, он воздел над головой щепоть, но, подумав, густо крякнул, махнул всей пятерней и ушел.

В тот же день Пелагея, счастливая, смущенно отводя счастливые глаза, собрала чемоданы; я проводил ее на вокзал. Когда поезд унес её в небесный Иерусалим, я сел в электричку и отправился за город. Под открытым небом я окончательно понял, что ужас миновал, и отражение к себе тоже. Я уловил себя на том, что исчез вечный страх перед смертью, перед условиями жизни, в которых хоронил саму жизнь; желудочные страхи, тестикулярный расчет, идеи, мыслеформы, общественные обсуждения. Как изводящая потребность засыпать и просыпаться, чтобы втиснуться в безумный график, не нужный ни тебе, ни другим. Life is life, не больше и не меньше, и как это прекрасно – жить и умереть.

Возбуждения не было. Крыша не съезжала; я всего лишь стал лёгким. Как я устал от всех каменных, металлических, деревянных и нейлоновых саркофагов, в которые меня погрузили, едва вынув из материнской утробы! Самое время жить. Солнце просвечивало меня насквозь, и я был Солнцем, потому что внутри меня пылала светлая звезда. Все вокруг превратилось в солнечную систему, к которой я относился со спокойной благодарностью – её свет лишь питал мои мысли, а они не принадлежали никому, даже мне. Казалось, я окончательно утратил иллюзии. Всё, что мне нужно было – это любовь, и я находился в полной уверенности, за оставшиеся полгода обязательно найду ее, и сгорю в полете, как метеорит.

Я стал часто выезжать за город. Там качались сосны, мощно плескался Байкал, и каждый порыв ветра приносил все большую ясность в мыслях. В этом воздухе растворилось столько

бодхисаттв, что, бродя по берегу, я ощущал привкус Бога, его вина, невесть по какой причине пролившегося на меня, ничтожного. И как обычно в тяжелый период жизни, мне повезло: я влюбился по уши. Я никогда не подозревал, что могу излучать любовь в пустоту... Её первое приближение прошло в метаниях, уродстве мыслей, и звали ее, кажется, Марта. Она появилась в нашей конторе, когда высохшим июльским днём я вышел покурить. Вдруг я почувствовал, что не могу избавиться от одной фразы: «Это в последний раз». Приписав свое состояние тому, что я слишком большое внимание уделяю кофе, компьютеру и гениальными идеями шефа (и, разумеется, помыслив о метастазах в мозгу), я украдкой отметил: конторского полку прибыло. Женщина стояла ко мне спиной. Когда она обернулась, я понял, что теперь не усну.

Я мог бы многое рассказать о её внешности, но это почти то же, что рассказывать о своих проблемах: люди с другими сложностями не оценят. День прошел точно во сне. Вечером, направившись домой, я хотел только увидеть ее, исчезнувшую полчаса назад. И вдруг на небольшом рынке, среди бойких баб и отверстых чрев машин, я заметил фигуру, которая никак не вписывалась в пыльную суету. Она стояла у прилавка и неуверенно выбирала яблоки. Я неплохо разбираюсь во фруктах; аки змий-искуситель, я к неудовольствию продавщицы помог определить лучший сорт – отнюдь не самый дорогой. Мы разговорились. Я проводил ее до остановки. Выпросил номер телефона.

Мы встретились через день. Утром меня отправили подписывать контракт с передвижной столичной арт-галереей. Тема выставки звучала просто – «Дом». Восхищение знатоков вызвали традиционные концепции жилища. Одна – огромные дворцовые покои, золото и мрамор, невероятное изящество диванов, икон, резных деревянных библий, ковров, канделябров и вместе с тем – ни кухни, ни сортира, ни кровати, и передвигаться запрещено. Другая представляла собою сплошной санузел, где унитаз был приспособлен под кровать или кровать под унитаз, кухонный стол располагался в биде, везде развешаны использованные презервативы и прокладки, а стены выкрашены в тот волшебный цвет, что вызывает рвотные спазмы даже у проктологов. Было ясно, что из любви к высокой чистоте авторы презрели контаминации, однако я был так занят мыслями о Марте, что не видел почти ничего.

Кое-как дождался вечера. Накануне я отправил жену к её матери. Развод был решённым вопросом. Марта ничего не узнала о приговоре врачей. Мы просидели в кафе до ночи. В этот раз я проводил ее до дома. Через час она позвонила. Проговорили до рассвета. Утром, выпив литр кофе, пришли в наш компьютеризованный храм золотого тельца и не могли сложить два и два... Смотавшись домой пораньше, я проспал три часа и вечером позвонил сам. Она только что встала.

«Хочешь, я приеду?» – спросил я. «Приезжай. Но у меня дома не получится.» «Это не проблема. Могу предложить две комнаты и одно маленькое сердце.» «Этого слишком много. Достаточно пары яблок и бутылки полусладкого».

Через полчаса, сбившись с ног поиске цветов, я встречал ее у подъезда.

На столике в гостиной я поставил в вазу тучный букет – красные розы, белые розы, лилии. Их аромат струился в русле квартирных стен, заполняя все вокруг; лишь запах ее волос восходил из этого месива. Я зачерпнул полную горсть лепестков и бросил на постель. Весь мир простирался внизу, в долине. Наши соки смешал цветной вихрь. В этот миг я подумал, что пора забросить литературу – ибо незачем писать, если ты полон света и счастлив.

Происходившее было настолько любовью и настолько сексом, что не нуждалось в названии. То были и небо, и земля, и обжигающая выюга, что их соединяет. Я держал в руках ветер.

Забывшись только на час, я проснулся у самой границы рассвета. Она лежала раскинувшись, там, где ее бросил ночной ветер, оставив без сил.

Я приподнялся на локте. Резкое, арктическое утро. Когда я принес кофе, она стояла у окна. Подошел и взглянул через ее хрупкое плечо: все те же дома. Город функционировал будто завод, все рабочие которого давно умерли, но по-прежнему вращались двери и турбины,

и тени были втянуты в летаргическую радость труда. Как обычно, люди торопились покупать и продавать. Несколько секунд я не понимал, что происходит. В реализме нет ничего реального, вспомнилась фраза. Боги мои, какая пошлость. Но как это верно.

Она прижалась ко мне. На ее безмолвный вопрос я ответил:

– Никаких новостей. Все тот же исход обратно в Египет, шоппинг души.

А через два дня начался наш медовый месяц. Однажды утром обнаружилось, что дверь начальственного кабинета заперта, что бывало до крайности редко. Обычно шеф следит за сотрудниками как ревнивый рейхсканцлер. Впрочем, отсутствие шефа ничего не изменило в конторе. Благочестивые *Frauenzimmer*³ за чашечкой чая шепотком обсуждают *Katzenjammer*⁴ герра Управляющего. На его подтяжках вянут эдельвейсы. «К сожалению, Цезарь Адольфович немножко приболел», – сообщил он с печалью. Я интеллигентно оскорбел минуту и подумал: что будет с Управляющим? В отсутствие шефа он будет лизать сидение его кожаного кресла, дабы не утратить управленческий профессионализм.

Дальше все было, как я предполагал. Сначала управдел, а после и его приближенные внезапно *приболели*, так что на работу можно было приходить лишь затем, чтобы отметить. Мы воспользовались случаем на полную катушку. Все четыре недели, пока шеф мужественно боролся с ОРВ где-то в Альпах, мы превратили в одну сплошную постельную сцену. Чтобы спрятать наш цветущий вид, мы пользовались услугами троллейбусного парка и почаще интересовались курсом валют. Пытались думать о политике президента. Обращать внимание на плевки гопников. Превозносить до небес гений шефа. Негодовать по поводу кощунственных происков конкурентов, иуд, террористов и всех на свете темных рас, не чтящих закона прибавочной стоимости. Однако все меры помогали слабо. Жизнь неистребима.

Во внешнем мире всё продолжалось как обычно. Конторские дамы продолжали обсуждать проблемы своего здоровья и мелкие сплетни, не покидая насест. Любовь – *persona non grata*. О ней положено грезить, а наяву отравлять воздух своей разочарованностью – той, что остается после страшной догадки, что Дед Мороз живёт в соседнем подъезде. Мы не смогли бы объяснить это – жажду взрослых людей, с детства бежавших от мысли открыть свою душу. Однажды мне пришлось туго, когда ее отправили в командировку на три дня. Я едва не провалил все явки и пароли. Вздрагивал от каждого звонка. Не попадал в клавиши компьютерные. Впервые с гнетущей ясностью я сознавал, что ничего не смогу сделать: ни сжечь время, словно проспиртованный воздух, ни свернуть пространство в трубочку, вместе с его джунглями, тайгой, саваннами, самой передовой, пугливой и наглой цивилизацией, со всеми населенными пунктами и всеми, кто их населяет. Когда Марта появилась (была пятница, 10.03 по закутскому времени), и встретила меня взглядом, который я понимал слишком хорошо, от счастливой смерти меня спасла одна мысль: это в последний раз. Я не отпущу её больше. Никогда.

Кое-как провели остаток рабочего дня. В пять часов она вышла, попрощавшись с остальными. Я знал, что она ждет. Выдержал еще 15 минут... Наручные часы остановились. Затем было скольжение в облака.

...Мы добрались до моей квартиры, кажется, на такси, и кажется, я отдал последние деньги. Не сказали ни слова. Упали на кровать, будучи в трансе. Стащить с себя одежду смогли только в оцепенении, словно видя перед собой силуэт нависшего танка. Когда мы вошли друг в друга, я даже не ощутил себя: только ее. Она сходила с ума, извиваясь, а я отделился от своего тела и заполнил всю комнату, этот город среди тысячи верст зимы. Ее гладкие космы, гибкие бедра... Счастье не вмещалось в телах, всего лишь актёрах, играющих движения души. Жизнь хлестала так, что впору было умереть... Мы смешивались жадно и беспорядочно, ища утробу,

³ Кумушки (нем.)

⁴ похмелье (нем.)

way come back, то, что действительно скрыто. «Это в последний раз», крутилась в голове странная фраза, и я стал повторять ритмично: «Это в последний раз».

В ту ночь, о которой мне всё меньше хочется вспоминать, я был один. Она отправилась со своим отцом на дачу поздно вечером, и оставалось только ждать рассвета, полудня, вечера вновь. Я уснул не раздеваясь. В ночном кошмаре бесновался ливень, город сотрясало землетрясение. Кто-то с оглушительным ревом ломился в мою дверь.

Вечером я узнал. По дороге на дачу машина ее отца разбилась. Отец не пострадал. Она умерла мгновенно.

*

Прошёл месяц. Вернулась жена. Она гламурно похудела, подтянулась и расхаживала по квартире в одном кухонном переднике, поскольку мы проводили время только на кухне и в спальне. Близость смерти её возбуждала. Иногда она отпускала из рук сковородки и молча припадала ко мне. То было сближение медсестры с тяжелым больным. Умрёт ли он, поправится ли, в любом случае никто никому не должен.

Издалека, на медленных тяжелых лапах подкралась памятная суббота... Тем утром я отправился на приём. Жена вытолкала меня за дверь – было плановое посещение доброго доктора. По дороге я обдумывал возможность: вдруг сейчас моя супруга трахается с Клавиком, ее тайным воздыхателем, с которым она вела переписку. Он принес ей цветы, они выпили кофе, немного вина... он посадил ее на колени, приподнимает ее пышные белые ягодички, и вцепившись в его плечи, она стонет, как будто поёт зулусские гимны. Настроение слегка улучшилось. Что же. Последний визит к врачу. Нужно оставить супругу в покое. Уйти из ее квартиры. Зачем ей мои страдания, если своих достаточно – со мной?...

– Ну-с, как ваши дела? – осведомился Пал Сергеич.

– Спасибо, хорошо, – признался я.

– А у меня для вас известие, – с обезоруживающим идиотизмом посмотрел на меня доктор. – Вы здоровы.

Я молча смотрел на него. В мозгу играл вальс «Амурские волны».

– Ну, ошиблись маленько с анализами. Перепутали что-то. Нет у вас никакого рака. Просто нет признаков, – сказал врач и торжественно пожал мне руку.

Зашла медсестра, и доктор рассказал ей свежий анекдот. С ней я прошел в процедурную для окончательного анализа крови. Мы шутили, хотя мне было не по себе. Это не кокетство – не каждый день вот так, между двумя анекдотами, теряешь билет на «Боинг», зная, что придется ползти поганым раздолбанным поездом по смутной территории, где каждый день у тебя вымогают сердце. Предстояло возвратиться в мир, с которым я так душевно распрощался. Опять протискиваться в тесный поток черепов, локтей, бедер, над которыми витает фосген чуждого всему живому менталитета.

Впрочем, медсестра была очень милой женщиной. Лоснящиеся вишни глаз, выпирающая грудь были способны впечатлить даже конченного экзистенциалиста. Наша взаимная игривость становилась все более проникающей. Вынув иглу из моей вены, она погладила мне руку, обвела куском ваты вокруг родинки на плече. Почти машинально я обвел указательным пальцем ее шею, приблизился к губам. Она взяла палец в рот и подтолкнула язычком. Её груди вырвались из халата и уставились на меня крепкими сосками, тяжело покачиваясь... Чистое ритуальное совокупление – просто никаких признаков. Никаких обещаний верности, подозрений, бумажных страстей, лунатической поэзии, денег, свадеб, огородных соток, кредитов, яичницы на обед. Не было даже похоти. Солнце взошло, я выздоровел; вот и все причины. Мы легли на белую софу и потерялись для общества.

Но что за гнусная человеческая натура. Выйдя из холла больницы и сев в автобус, я снова начал думать. Пересекая траншеи извилин, ползли черные мысли – как жить? Ведь я не ответил ни на один вопрос. Всего лишь даровал вопросам право пережить меня, и это право вернулось к дарителю. Смерть не сильнее страдания. Но если потянешь за одно, тут же явится другое. И я – здесь. Как только я уловил это, страх накатил небывалой по мощи волной. Он словно отыгрался за мое презрение к нему. Меня вдавило в кресло. Неужели все сначала? – спросил я небеса, но ответ пришел изнутри меня, и это был простой и ясный покой. Ничто ему не противоречило, и ничему не противоречил он. В нем было все, а он был ничем, если эта германская формула понятна не пережившему нечто такое... Ничего в уме.

Как трудно дышать, если думать об этом.

Мне стало легко. Так легко. Все можно, все принадлежит нам, если идти с пустыми руками, если, беря свет за пределами вселенных, возвращать его с благодарностью, и дарить другим.

Я по-прежнему ходил на работу. Спускался на пятый этаж со своих небес и не понимая собственных действий все делал как надо – благо, можно было позабыть о деньгах. В те весенние дни с полной силой развернулось живое, совершенно необъяснимое спокойствие, ни плюс ни минус, а я копался в его причинах, словно в засорившихся трубах. Идиотская привычка во всем искать некую идею. Я идею, ты идеешь... Состояние панической растерянности. Инерция тяжёлая, как голова на затёкшей шее. Время остановилось, но всё продолжается – мимо меня.

*

Вскоре я уволился и, не приходя в сознание, устроился в журнал. Еще через неделю скончался главный куратор издания – областной смотрящий за культурой, бывший волхв, соратник моего отца, добровольно перешедший в неприкасаемые после упразднения D-системы. Отец проклял бы его, в этом нет никаких сомнений, но я ничему не удивился – если мир однажды рухнул, он рухнул навсегда.

В день похорон погода стояла отличная, такая, от которой легчает на душе. После церемонии заклания врачей, не уберегших покойного от старости, состоялось собственно захоронение. Все было весьма изысканно. В трёхэтажную могилу бережно опустили 1D-идол покойного – платиновую фигуру Джона Фрама, затем янтарный саркофаг, раскрашенный под Хохлому, покрытый глазурью от Фаберже и фресками от Ивана Рублёва. Отдельный взвод возлюбленных покойного стоял молча, ощущая благочестивое почтение к этому человеку, прожившему не даром, но последний аккорд церемонии тишину и девушки безудержно закричали, и тут не выдержали все, и началось пение гимнов. При помощи строительного крана в могилу погрузили бронированный «Бэнтли», двух арабских скакунов, свору борзых, боевого слона, безутешную вдову, семь официальных любовниц покойного, их мужей и их любовниц, батальон охранников в полном боевом облачении, дюжину чиновников областной администрации и пакет учредительных документов. Оставшиеся пустоты были засыпаны антикварными золотыми скарабеями, чёрным жемчугом и серебряными долларами, затем всё залили свинцом, покрыли бетоном и сверху водрузили милицейский пост.

Как я и думал, на торжестве не оказалось ни одного волхва-поэта. Мои старшие коллеги остались дома от греха подальше, хотя представляю, какие деньги им предлагали. Выполняя свой 2D-долг, я вышел на лобное место, лихорадочно пытаюсь сообразить, в какой стилистике подать погребальную песню. Покойный исповедовал православие и построил мечеть, состоял в нацистской партии и в масонской ложе «Звезда Сиона». Всё вертелось вокруг любви к древностям. Поскольку *могила* по-старославянски – *жоупище*, поначалу я собрался учинить стихотворное этимологическое исследование, но передумал. Метафора была чересчур очевидной,

так что даже переставала быть метафорой. Смерть для этого несчастного была действительно полным крахом, ведь следующая жизнь отнюдь не сулила ему ни удачи, ни богатства. Отбросив проблему выбора, то есть находясь в истинно поэтическом настрое, среди наступившего безмолвия я произнёс оду на сошествие. Содержание этого невинного экспромта выпало из моей памяти. Помню только, что финал я изукрасил гуманистическими архаизмами и призвал скорбящих к милосердию, хоть это чувство, скорее всего, казалось покойному в высшей степени экзотическим.

Когда толпа пришла в движение и, побрякивая изумрудами, направилась к выходу, я обратил внимание на стройную блондинку, утиравшую глаза краешком застиранного платочка. Было в ней что-то такое, чего я никогда не встречал. Мы удалились в поминальный ресторан. Через час я знал о ней всё.

У нее сложный D-basis: 1D – род Великого Змея, 2D – каста храмовых танцовщиц, 3D – Красная Гюрза. В целом она фантастически красива. У её волос запах осени, её губы – секс богов; отец наградил ее изысканной головкой, мать – гладкой кожей цвета крови с молоком; в часы любви она сверкает перламутром. Лаура с отличием окончила Академию искусств имени Аполлона Якутского, но её всегда влекли деньги и потому она устроилась в фирму, возглавляемую покойным. Весь менеджрат конторы представлял собой членов некоего тайного общества. Сотрудники обязаны ходить в специальной форме и стучать на коллег, а также на друзей и близких. Она долго упиралась, разыгрывала из себя дурочку, но в конце концов ушла по собственному желанию, и не мог бы я занять ей по-братски тысячу сестерций? Я не занимаю женщинам деньги, только дарю. Мы отправились гулять по набережной.

*

Взяв поручень словно древко легионного значка, пересекаю культурный центр, стараясь не думать, чтобы не дрожать. Тяжелый, серый, с прожилками серебра Закутск проплывает навстречу. Нам снова не по пути. Сегодня мне предстоит победить весь мир и свою любовную горячку.

Перекрёсток. Под рельсами трамваев дрожат корни тополей. Тряска, вибрация, бессмыслица. Ритм города рассыпается, валясь со склона в холодную жёсткую реку. Вдали, в Центральном парке, замерло чёртово колесо. Воздух пропах жареным мясом. Проходя мимо Крестокосмической церкви, ловлю себя на сильном голоде. Съесть этот город, транспорт, крем цветущих деревьев, каменные брикеты, мясной пирог с хрустящей корочкой асфальта. Всё переварится и родит новый взрыв, но только не Лаура, маленькая косточка, отравленная нелюбовью.

Слияние. Боль к боли. Что это, если не религиозное чувство? И где она может быть, если не там, в доме с башенками? Нет, не в постели. Ни в чужой, ни в своей. Она не любит секс при свете дня, когда надо работать и страдать. Дитя Солнца, она начисто лишена воображения. Сейчас она может быть только на работе. Женщина-ловушка. Женщина-вдох.

*

Этаж, коридор, лестница, мрамор. Резная дубовая дверь. В пустом кабинете сидит рекламщик Тоша. Работает здесь только телевизор. Откинувшись на спинку кожаного кресла, Тоша курит Моге и внимает президентскому трешь-мнешь.

– Проходи! – крикнул он, сверкнув золотом оправы. – Ты знаешь, кто у нас шеф по 3D?
– Феникс?

– Тескатлипока⁵. Повелитель дымящегося зеркала. И воров разводил, и ментов. Царь ужаса, короче. Чисто индейская ментальность. Только что отражается в этом зеркале, если всё дымится, а? Ты, кстати, не туда зашел. Они переехали. В соседний кабинет.

Back. Enter. Перемещаю дверь на петлях, заглядываю. Слева рядом сидят смиронервные верстальщики. Лаура – за командным столом, изображает крайнюю занятость. Недавно она стала редактором рекламного бюллетеня и, конечно, очень горда собой.

Прошу её выйти. Беседа ни о чем. Посмотреть на нее. Окунуться в запах золотых волос, золотых духов.

В коридоре с видом на здание музыкального театра, сквозь сито пыльных лучей мы просеиваем камни усталости. Я закуриваю. Она, немного посомневавшись, закуривает тоже. Погрузив свой взгляд в мелькание пыли, она произносит:

– Да, есть предложение... Тут надо написать материал по экономике. Все будет оплачено, – торопливо дополняет она.

Разумеется, я согласен. Тем более, что будет оплачено. Только откуда она взяла, что я разбираюсь в экономике? Из тех стихов и сумасшедших сказок, что я посвятил ей? Я банкрот. В моем кармане – сигареты без табака, спички без пламени. Я ничем не могу порадовать твой ум, даром что цепляю выступления фантазмов.

Это не все. Она пишет диплом и нужно кое-что добавить.

– Ты же знаешь, Олег. Я не могу писать 2D-тексты на тридцать страниц. Я считаю, что краткость – сестра таланта, – замечает она и гордо улыбается.

Очень мило, mademoiselle. Только издателям не надо признаваться... Торопливо что-то пролопотав, смяв сигарету, она уходит. Выразительный такт ее ягодиц заставляет меня улыбнуться. Save picture ass. Сохрани все. Сложи в карман и унеси, чтобы повесить на стену у ложа твоего, в доме, которого нет. Сухой грязный воздух. Засиженное мухами стекло. Смотрю на здание музыкального театра. Свинцовые трапеции фонарей на самом свинцовом в отечестве фоне. Местная бастилия искусства. Мечта унтер-офицера. Впрочем, это здание построено для вечерних премьер. Дожить до звезд.

Куда ты денешься.

Сумерки. Вошёл в квартиру, не включив свет. На пустыре за окнами гуляет ветер. Скопление джипов у деревянного бокса: откормленные дяденьки играют в футбол. Отсвет фонаря падает на линолеум, где стоит желтый куб моего будильника. Замершая стрелка показывает 8:00. Интересно, когда они остановились? Ночью? Днём? Восьмёрка: руна Вуньо. Счастье, стало быть. Нужно купить новые часы, эти постоянно теряются во времени. Или, может быть, отвести им почётное место? Всё это знаки, а знаки, если оставить их в покое, никогда не лгут. Самый простой пример – мой друг Герман Рогге, более известный как Егор. На левом его запястье – руна Наутиз, означающая торможение, на правой – Иса, означающая замораживание. Егор не волхв. Он торговец. Эти партаки ему сделали по глубокой обкурке в пионерлагере лет двадцать пять назад. В те поры он не ведал других рун, кроме этих двух и яростной солнечной Соулу, которую увидел в кино о Штирлице. Советские актеры щеголяли в форме офицеров СС, чьи лацканы украшал двойной знак Соулу, но Егор, хоть и не считал себя советским патриотом, фашистов все-таки недолюбливал. Сейчас под гнётом неудач и двойственности характера Егор намерен наколоть еще одну руну – Райдо, знак Пути, но остановился перед вопросом о месте его нанесения. Он планирует украсить знаком лоб, но подозревает, что социум поймёт его превратно. Я посоветовал нанести двадцать пятую руну, как у меня, а если Райдо, то на затылок. Ведь, во-первых, известно, что Райдо наносится на шаманский бубен или на другой предмет, издающий ритмические колебания, а Егор регулярно получает подзатыльники от жены и начальства; во-вторых, под волосами этот знак никто не увидит, кроме Одина,

⁵ Тескатлипока – верховный бог индейцев Центральной Америки. Имя означает «повелитель дымящегося зеркала».

и Райдо станет настоящей оккультной руной; в-третьих, для него лучше выколоть не Райдо, а Хагалаз, так ему необходимый. Но услышав мои аргументы, Егор зашипел как испуганный кот. Он не хочет разрушить негатив в своей башке. Он хочет поскорей покинуть родину.

Потрясающе, до чего я отвык видеть знаки. Ладно, попробуем сосредоточиться на воздухе. Включаю чайник. Зажигаю сигарету.

За окном женщина прогуливает ротвейлера. Закинув чернокудрую голову, женщина смотрит на Луну. Справа по шоссе в сторону порта уносятся автокентавры. Навстречу им бегут протяжно ревущие троллейбусы. В одном из них я приехал сюда.

Привыкаю к темноте. Неясное это место открывается, если оставить его без электрических дождей. До прихода экскаваторов и академических энтузиастов тут царили степь, ночь и ветер. Дома ничего не меняют. Дома – злокачественная опухоль для этих мест. Когда-нибудь их не станет, это неизбежно. Их смоем чистый здоровый ветер этих степей, вместе с теми, кто прячется в тесном тепле хрупких коробочек, нагроможденных друг на друга без особой аккуратности. Дома самонадеянно утыканы рострами балконов. Когда-то они решились завоевать это поле. Карфаген должен быть разрушен. Эскадра ушла, бросив гарнизон на растерзание сумеркам. Снизу в квартиру сочится эхо. Души мертвых жалуются сантехникам. Это не Москва. Здесь можно жить по-настоящему только в недеянии.

Но какова тема её диплома? О да. «О счастье». Придется обэлектричиться.

Для начала оглядываюсь по сторонам. Обстановка, в принципе, содействует. Я пишу эти строки в Академгородке, в арендованной квартире с белым и сыплющимся, как бутафорское небо, потолком. Из мебели здесь только матрац и газовая печь. Столом мне служит лист фанеры, положенный на колени. Я привык к подобной обстановке, потому что собственного жилья у меня нет и вряд ли оно появится – по крайней мере, в этой аватаре. Впрочем, нынешняя спартанская обстановка лучше, чем карьерные стулья и стены, испачканные китайскими обоями. В их окружении начинаешь воспринимать объекты ума слишком близко к сердцу. В такие псевдожилые квартиры, похожие на горное эхо, не хочется возвращаться даже из офиса газеты, где во славу хозяев и юзеров СМИ рвешь себя на куски и склеиваешь кровью пару строк, которые завтра канут в забвение. И хорошо, если канут...

В столь же невообразимом месте я провел год с бывшей женой. Когда обои начинали приводить меня в бешенство, я принялся покрывать их стихами – то была поэма «Моя Змея». Строки сложились по вертикали, слились в силуэт кобры, поднявшейся на кончике хвоста. Вскоре я понял, что поэма извела меня. Я не спал две или три недели. Натали, моя экс, устала не меньше меня. В конце концов я занавесил извивающуюся поэму простыней с щедрым урожаем пота и спермы, но силуэт кобры проступил на третий день, и заметив его, я снова погряз в бессоннице.

Очень странно писать о любви – так же, как о стране и людях. Это похоже на российские фильмы о российской действительности, где бесполезно искать светлую сторону и только лихорадочно соображаешь, какое зло тут является меньшим. Возможно, у Лауры очень своеобразный взгляд на счастье. Не исключено, что счастье для нее – это нора во влажном лесу, где вечный морок и прелые листья. Лаура терпела моё присутствие лишь в определенных ситуациях и едва не выталкивала за дверь, когда болела гриппом. Это было в феврале. Несмотря на сопротивление, было невозможно оставить ее в те дни. Охватив колокольный звон в голове, я сидел на ступенях ее подъезда и видел ночные города, трассеры уличной иллюминации, мягкий мрамор аэровокзалов, вялый свет в купе поездов, мерно стучащих под звёздами, всё, во что я падал с тёмных небес, всё, что разворачивалось чёрной розой; я видел зелёные глаза под вуалью, её тень, покинувшую хозяйку – тень пахла постелью; о боги, я видел всё, во что она смотрела из окошка болезни, и всё обретало своё подлинное лицо, нежное и чистое, и не разлучало с тайной, которая есть жизнь. Тогда я ещё думал, что наступит июль и я забуду увлечение осени, но наступил август и это продолжилось. Когда она купалась в Байкале – а она всегда

купалась обнаженной – я приводил с собой дождь и, приняв свой 3D-образ, подплывал к ней, скользя гибкой шеей о ее бедра. Она брала мою голову в свой пахнувший полынью рот и ласкала раздвоенным змеиным язычком, и сходила с ума, когда я проникал крылом в кораллы меж ее ног, восходивших из глади отмели, но эта невинная игра не имела будущего; как все, она поставила на смерть.

*

2:11 ночи, а всё уже опостылело. Худшее время моих суток – с 10 до 15. Утро я отдаю работе. Если бы не работа, я вставал бы лишь почувствовав себя отдохнувшим. Так случается нечасто. Господа владельцы требуют полной самоотдачи, но оплата по местному тарифу: три цента строка и лимит на гонорар – 200 долларов. Я обязательный человек, склонный намертво заикливаться на установках, хоть и борюсь с этим всю жизнь, но в итоге всегда теряю сон, чтобы не проспять или не упустить что-нибудь. Что бы там ни было, после 15 часов я никогда не работаю на редакцию. Сегодня я отобрал у себя три часа запаса неизвестно зачем.

Слипаются глаза. Бесит мысль о том, что, проснувшись, я не вспомню о своем нынешнем кошмаре.

Это звучит вовсе не ново. Чем дальше, тем труднее говорить о чём-то личном, но слушать просто невыносимо. Не в том дело, что наедине с собой каждый выбивается из ряда вон и с непривычки несет околесицу, не в том, что околесица так похожа на правду, не в том, что личное оказывается всеобщим. Просто везде отчаянно смердят неудачи.

Невезуха. Это слово многое значит в России. Без благотворного участия Фортуны здесь ты погиб. Семь пядей во лбу и железная воля только усугубят твое положение, если ты выбился из гармонии. Самое банальное невезение, если оно становится хроническим, указывает на некий высокий разлад – с мирозданием, но массы срываются в пропасть несовпадений, потому что научилась испытывать от этого кайф. Болезнь отрывает их от планеты. Болезнь – это дух, возросший из ошибок, как крысы, загнанные в угол, обретают изворотливость и отвагу. Им понравилось в углу. На воле все не так. На воле нужно быть свободным. Им даже плевать на то, что следует за прорывом. Они полагают, там только смерть.

Фэйк, увитый розами, покрытый позолотой. С виду все сильны и неприступны, но критический стакан водки или готовый выслушать человек вдруг взламывают оборону, и говорящего уже не остановить. Всего один пример – Илья. Тринадцать лет назад мы собирались на обычные посиделки: кухня, портвейн, болгарские сигареты, все было хворостом в костер азартных монологов о том, какие козлы коммунисты и какие молодцы там, за железным занавесом. Сейчас дела Ильи идут отлично. Босс. С утра в своей конторе он свеж как маргаритка, силен как бык и ослепителен как софит. Но как-то вечером, когда мы сидели на кухне в его новом коттедже, мертвом от пластмассовой косметики евроремонта, и, оставив нам закуски, его жена ушла спать, Илья вдруг расплылся точно синяк и, глядя в угол пустыми киллерскими глазами, только и смог прошептать: «Всё похерили... Всё похерили, всё...» Его прорвало в монолог, хлеставший до рассвета. Илья не тоскует по иллюзии закона и порядка, которую он с удовольствием костерил бы на кухне – просто больше нечего разрушать, ничто не давит, оттого ему страшно и не по себе. *Похерили*. Мы видели руины страны, её кости, правда о государстве упала на наши головы как волна помоев или манна небесная, кому как, но чем бы то ни было, нас уже труднее обмануть. Пока наше поколение совсем не исчезнет, новый порядок будет пропитан таким откровенным цинизмом, что утратит даже видимость игры в идею всеобщего счастья, поставив во главу угла только привычку подчиняться и подчинять и всё худшее, что заставляет людей строить себе тюрьмы. Илья мечтает о камере в новом узилище так трепетно, что боится спугнуть свою мечту верой и надеждой. Иногда мне казалось, что он не доживет

до утра, но утро запускало пластинку по новой и он творил то же, что и всегда, может быть, круче обычного, и это продолжается годами.

*

Год назад меня уволили в очередной раз. Когда деньги кончились, я почувствовал себя по-настоящему лёгким. Одним январским утром я нанёс визит в кафе, расположенное в десяти шагах от общаги, моего обиталища в те дни. Я решил быть откровенным и простым, чего бы это ни стоило, и сказал администратору: «Я поэт, но умею мыть посуду». Хозяйка заведения улыбнулась и зачислила меня в штат. От должности официанта я отказался, от участия бармена тоже, поскольку не хотел суеты и питал отвращение к виду денег. Весь персонал кафе обладал весьма замысловатым высшим образованием, только волхва им недоставало. По ночам мы засиживались у меня в подсобке, сложив закуску на посудомоечной машине, и вели разговоры. Люди, с которыми я работал, так много повидали на своем веку, что никого не осуждали и никуда не спешили.

Для большинства знакомцев я, конечно, умер. Грегуар, внезапно отнесшийся к этой диковатой идее с пониманием, был удивлен косыми разговорами, пошедшими в мой адрес. «Почему бы им не поддержать тебя? – спрашивал он. – Престиж? Какой у них может быть престиж?!» Престиж и позиционирование – альфа и омега наших общих знакомцев – в сущности мало отличаются от понятия чести, но его сместило такое сравнение. По его мнению, наши знакомые – просто клоуны, для которых и пули жалко. «Ничего реального, одни соображения», – заметил Грегуар.

Слушая его, я терял веру в прошлое. Слава, воинское братство... Где все это? Мы с ним почти родственники; по крайней мере, мы воспитаны в этом ощущении. Наши отцы были друзьями. Он старше меня на пять лет. Когда меня призвали (это случилось на пятом курсе теологического факультета, когда скончался отец), Грегуар уже окончил Рязанское высшее и пару лет тянул лямку в республике Конго, командуя той самой третьей центурией, к которой я придан. Конфедерация и Океанский Союз делили алмазы в этой несчастной стране. Незадолго до моего прибытия когорту перебросили в столицу – Браззавиль, также известный как Майа-Майа. В этом колониальном городке мы и простояли последние месяцы войны. Запомнилось ослепительное, едкое, до слез, небо, заброшенность улиц, оплывшая архитектура, все оттенки желтого. Пронзительные песни, убийственно вкусный кофе на открытых террасах Пото-Пото, лениво-стройные походки... Но больше запомнился гул в ушах и запах керосина, распыленный в воздухе, поскольку мы охраняли аэродром. Казармы находились там же. Я не задавал себе вопрос, за каким хреном мы приперлись в Конго. Я спрашивал только, за что? Позорная война. Только такие и случаются на закате империи. Берсеркам нельзя воевать в Африке – там совсем не европейское отношение к жизни и смерти. Там понимают, что это одно и то же. Из двух воюющих сторон никто не заблуждался насчет разумности войны, не придумывал некую цель, так что потери с обеих сторон были просто фантастические, учитывая скромный масштаб этой военной операции. Настоящей проблемой стали местные колдуны. Однажды в сентябре наших командиров свалил мор – внезапная потеря сил, остановка сердца. За одно утро я провел поминальный обряд по десяти офицерам. К тому же приходилось умерщвлять их окончательно – мы отрезали мертвецам головы. Если вы имеете представление о магии Вуду, то поймете, зачем. Из Москвы приказали немедленно ответить на агрессию. Мы собрались в специальном ангаре, шестеро волхвов нашей группировки. Не сделали ничего особенного – поставили «зеркало» и провели контратаку. Мор тотчас прекратился. Следующей ночью вся Майа-Майа погрузилась в траурные огни: вуду-пипл хоронил своих героев. Только высокопоставленных колдунов погибло семь человек. Меня повысили до легата IV ступени, то есть до старшего лейтенанта, если перевести на армейский язык.

Несмотря на временные успехи, боевая магия оказалась бессильной изменить ход операции. Наши мобильные группы сжигали деревни одну за другой, но дизентерия, партизанщина, снайперы, отравленные колодцы, мины... Мы отпевали погибших с утра до вечера. Тела привозили на вертушках, молча выгружали и улетали за новой партией. В конце концов князек, ставленник Параэксхарта, сбежал со всей кассой, и пришлось убираться домой за собственный счет. Мне и Грегуару повезло: нас подхватил грузовой борт, последний российский транспорт, покидавший Браззавиль. Мы были пьяны уже неделю, как и две черные девки, которых мы собрались прихватить с собой, так что возвращение на Родину сохранилось в моей памяти частично. Помнится только, когда наших попутчиц все-таки выгнали обратно на бетон, Грегуар с чувством продекламировал монолог Ахиллеса из первой главы Илиады. Звучало убедительно, ведь и Гомер когда-то воевал.

Внесу уточнение: в отличие от Грегуара и Гомера, я не воин. Я даже не был уверен, что могу научить берсерков чему-либо кроме смерти. К счастью, когда мне исполнилось двадцать четыре, страна приказала долго жить. Насколько я понимаю, то был не самый худший из ее приказов. Грегуар тоже воспринял это событие без эмоций. Он уволился в запас лишь после того как узнал, что бывший командир легиона погиб в Чечне.

Занятно было вспоминать о нашем легионе в те посудомоечные дни, когда он заходил ко мне, одним видом пугая местную урлу и прочих аборигенов. Официально он работал начальником охраны какого-то местного бизнес-князька. Рваться выше не стал: деньги те же, грязи больше. В президентскую гвардию тоже не пошел, о причине я не спрашивал. В новой среде он нахватался специфических анекдотов и выдавал их очередями. Оглядев комнату, Грегуар отметил, что условия здесь нормальные, можно сказать передовые, и что я, наверное, очень уважаю себя, ежели вздумал тут работать. Люди с мелким самоуважением обычно ищут что-то выше их, пояснил он. Сидя в подсобке за бутылкой Анси, он размышлял вслух и пришел к выводу, что свобода – высшее понятие, цель и средство, и ни то, ни другое. И если для того, чтобы быть свободным, тебе нужны какие-то условия, то цена тебе ломаный рупь.

Я слушал его вскользь. Мне было все равно, кем меня считают, кем я считаю себя. Главное, моя голова была свободна. Я никому не принадлежал, получал достаточно и при этом не проституировал, несмотря на свое, казалось бы, незавидное положение. Я продавал свое отчаяние, с которым мечтал расстаться бесплатно. В те дни, возможно, я написал не лучшие свои строки, но процесс письма доставлял колоссальное удовольствие. Однажды я написал письмо Эдику в Париж, куда тот эмигрировал от такой жизни, и в красках изложил все прелести моего нынешнего бытия. К сожалению, кафе вскоре сожгли конкуренты, ибо все в нем было слишком хорошо для Закутска. После трех месяцев упорного сопротивления я все же решился вновь пойти в редакцию журнала и снова начать с нуля. Утешало лишь одно. В день приема на работу я получил письмо, в котором Эдик благодарил меня за совет и рассказывал, как здорово он устроился в одной забегаловке неподалеку от Монпарнасского кладбища. Я возмечтал о бегстве и срывался в тоску.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.